

РАСКАЗЫ

АФРИКАНСКИЙ СЛЕД

Александр Ильич Ниточкин считал себя мордвином, представлялся всем по-модному автохтоном и очень гордился этим. Потому что мордва — самый что ни на есть коренной народ, который живет на своих землях с незапамятных времен, можно сказать, народ-абориген. Александр Ильич мог бы вспомнить период своего повышенного политического интереса к жизни, это в начале девяностых, когда в Казани стали поговаривать о суверенитете и независимости Татарстана. Ниточкин стал внимательно следить, как к такому мероприятию отнесется Саранск, но там почему-то замолчали эту важную инициативу татар. Он даже сходил в районную библиотеку и осторожно выяснил в энциклопедическом словаре, что такое суверенитет. Идея была простая, понятная и понравилась Александру Ильичу, хотя, когда он выступал на последнем колхозном собрании, ума у него хватило про суверенитет не заикаться.

По всем параметрам Александр Ильич был самым обыкновенным деревенским мужиком. С грехом пополам он окончил сельскую школу, потом — армия, после армии тридцать лет в колхозе на тракторе. А как колхоз развалился, устроили его по благу сторожем в районный музей-заповедник. Работа — не бей лежачего.

Музей-заповедник — это приличная по размерам огороженная территория с барской усадьбой, подсобными помещениями, парком и с прудами. Дежурит ночным сторожем он посменно с Петей, научным сотрудником музея из городских, который так подрабатывает, а живет в общежитии. Дел у Ниточкина как у сторожа немного: вечером проверить, все ли ключи сданы и все ли службы на территории под замком; помещений этих, под замком, семь. Позднее надо обойти территорию и посмотреть, не забрались ли пацаны карасей в господских прудах половить и не развели ли костра где, на ночь включить сигнализацию да дремать около телефона, а утром сдать объект дежурному экскурсоводу — все просто.

Дома тоже забот у него немного: жену давно похоронил, зятя недавно в тюрьму сел за пьяную драку, и живет Ниточкин теперь с дочкой да с внучкой в пятистенке крепком, участок пятнадцать соток с огородом и садом, да еще пятьдесят соток есть под картошку.

Первый год Ниточкин очень гордился, что работает в усадьбе, где жил великий поэт Пушкин. Придет утром со смены домой и рассказывает дочери: «Вчера японцы

Олег Алексеевич Рябов родился в 1948 году в г. Горький. Окончил Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Первая публикация состоялась в 1968 году. Первая книга — повесть о войне «Письма отца» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году. С тех пор вышли пятнадцать книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Наш современник», «Нева», «Север» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Член Союза писателей России, российского ПЕН-центра, Национального союза библиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород».

приезжали, маленькие такие, лопочут что-то веселое, но ничего не понять». На следующий день с утра приходит и рассказывает: «Теперь индусы приезжали, маленькие такие, меньше японцев». На второй год он освоился и стал с Пушкиным как бы на «ты». Стал Ниточкин по вечерам подходить к портрету поэта, висящему в коридоре, и разговаривать с ним: «Ну и урод ты, братец! И что на тебя девки вешались? А я бы тебя, наверное, тоже убил, если бы ты к моей стал подкатываться». Он не очень хорошо понимал, за что убили Пушкина, и именно так трактовал его гибель. Потом он шел в кабинет, где висело зеркало, вставал напротив и разговаривал с собой: «А ведь ты, братец, тоже урод приличный. И даже похож на хозяина усадьбы, если пальцами оттопырить уши и высунуть язык». Он оттопыривал себе уши руками, высовывал язык и вытаращивал глаза. «Похож, похож!» — приговаривал он вполголоса, потом вспоминал, что ему уже скоро шестьдесят, становилось стыдно, и шел спать.

Надо сказать, что Ниточкин — мужик сручный: и когда при тракторах был, все у него всегда крутилось и работало, и на ферме переделал доильные аппараты так, что коровы только что в очередь к ним не вставали. Конечно, мышеловку в телевизор он переделать не смог бы, но дома у него чудеса встречались. Над керосиновой лампой крыльчатку, вертушек такой, поставил, и тот у него как динамо-машина работает, мобильник заряжает.

И к себе, и к людям он без особых фанаберий относился: мог и в грязном ватнике по селу пройти, руки в солидоле, гаечный ключ из кармана торчит. Мог пьяненький под кустом заснуть: летом никто не потревожит, а зимой люди добрые растолкают и до дому помогут добраться.

В общем, много было качеств, по которым Юрий Александрович, директор музея, взял его к себе на работу сторожем. Не брать же отдельно электрика, отдельно плотника и особо слесаря-сантехника, каждый день неполадки в хозяйстве, а тут все в одном лице. К тому же Ниточкин звал директора просто Юркой, потому что знал его Александр Ильич с бесштанного возраста и приходился он ему каким-то троюродным племянником по сватовству. Опять же, не мог директор выпивать с научным персоналом или с экскурсоводами, а со сторожем — пожалуйста. Это Юрий Александрович зарубил у себя на носу с комсомольско-райкомовских времен, где он начинал свою карьеру, а потому и предпочитал выпивать в подсобке, в сарае или в гараже.

Год работает сторожем Александр Ильич, два работает — социальный статус его не меняется: выпивает, рукодельничает, с мужиками спорит, с бабами ругается. Только вдруг стал он замечать, что по вечерам, а уж ночью-то и говорить нечего, стал он плохо видеть. Слабнуть, что ли, зрение начало — просто физически стал он чувствовать, что устает что-нибудь разглядывать подолгу в темноте. Посоветовался он со сменщиком своим Петром — вроде человек и образованный, и городской, и не заинтересованный в гадостях, — Петр сказал, что надо обратиться к врачу. Посоветовался он с дочкой, посоветовался с директором Юрием Александровичем, и те в один голос говорят: езжай к врачу.

Директор сам дозволился до областного Министерства здравоохранения и договорился о приеме Ниточкина в определенный день в специальной больнице, где лучшие врачи-офтальмологи работают. Всё согласовали, всё решили, взял Ниточкин вещички кое-какие, вдруг в больницу лечь придется, и поехал в центр. Денег он сумму приличную на всякий случай прихватил, хотя заранее и было обговорено, что все, даже самые сложные операции будут сделаны по социальным квотам: уважали директора музея в областном правительстве. С тяжелым сердцем ехал Александр Ильич на эти глазные консультации. Одно утешило в день отъезда: не пришлось трястись в автобусе, поехали на новенькой «Волге-сайбер» вместе с директором, которого тоже по делам вызвали в центр.

А вот в больнице что-то не сложилось: профессор Глазков хваленый, к которому Ниточкин должен был попасть, куда-то уехал и должен был появиться только к вечеру. Тем не менее Александра Ильича проводили в палату, указали тумбочку, койку и велели готовиться к осмотру. Он переоделся в домашнее, благо дочка все ему собрала. А через совсем непродолжительное время сестра отвела его в смотровой кабинет, где заполнила лечебную карту, расспросив у Ниточкина обо всех его проблемах

— Вас будет сейчас смотреть профессор Масловский. Вы не глядите, что он молодой, — он уже докторскую диссертацию защитил и каждый месяц на неделю летает в Австрию лекции читать и операции делать.

Александр Ильич панически боялся врачей, где бы он с ними не встречался: в больнице ли, за столом ли праздничным, на рыбалке ли с удочками рядом стоял — он просто немел от страха. Профессор Масловский был действительно очень молодой, лет сорока, и очень смешливый. Он с улыбочкой поздоровался, с улыбочкой усадил Ниточкина за какой-то станок и с улыбочкой завершил разговор с молоденькой интересной медсестрой, которая продолжила готовить свои подсобные препараты и инструменты.

— А что вас, Александр Ильич, беспокоит? — спросил он у Ниточкина.

— Да плохо по ночам видеть стал, — ответил Ниточкин.

— А что — раньше хорошо по ночам видели?

— Нет, и раньше я, как все, ночью плохо видел, но теперь и вечером, в сумерки, очень плохо вижу. Точнее, вижу-то я так же, как и раньше, но устают глаза, напрягаться приходится. А если долго, так и болеть, и слезиться. В общем, что-то не так!

— Давайте пристраивайтесь поближе к моему агрегату, — профессор помог Ниточкину правильно положить голову на станок с подставкой для подбородка и с окулярами. — Теперь, если вам удобно, глядите на елочку, которую видно вдаль, в центре экрана, а я посмотрю, что у вас там случилось.

Молчаливое исследование продолжалось довольно долго.

— Настя, — позвал доктор свою интересную ассистентку, которую Ниточкин принял за медсестру, — посмотрите! Вам как начинающему медику надо это увидеть хотя бы раз в жизни. Это — то, о чем я рассказывал вам вчера и чему будет посвящен мой доклад на ближайшей конференции. Я ведь за свою практику не одну тысячу глаз видел, и если в Европе мне такое явление хоть и редко, но встречалось, то у нас в городе — в первый раз. Хотя я думаю, что в ближайшее время эта картина резко поменяется. Я этот эффект называю «африканский след» и попытаюсь его объяснить.

Доктор усадил Настю на свое место, и та стала так же внимательно изучать Ниточкина, как минутой раньше это делал профессор. А профессор тем временем что-то говорил, и Ниточкин пытался понять — ведь это о его проблемах говорят.

— Настя, вы видите, что повышенное содержание меланина в организме — налицо. И линия радужки зубчатая, типичная для негроидной расы, у европеоидной расы она должна быть овальной, как у ромашки. Для меня совершенно непонятная ситуация: белая пигментация кожи, почти голубые глаза и такая радужка. Скажите, Александр Ильич, — обратился профессор к Ниточкину, — а ваши родители или дедушки с бабушками в Африке никогда не работали?

— Нет, что вы, профессор! Мы деревенские, из Большого Болдина, а бабушки с дедушками из Пикшени да из Черновского. Это рядом.

— Большое Болдино — это где Пушкин, что ли, бывал?

— Да, да — Пушкин у нас жил, — подтвердил Ниточкин, и тут его осенило, о чем говорил профессор своей ассистентке.

— Александр Ильич, — продолжил доктор, — мы вам поможем, проблема разрешима, только вам придется у нас задержаться на пару дней. И к тому же профессор

Глазков хотел вас посмотреть, он через пару часиков подъедет. Настя, а ты померяй у Александра Ильича давление глазное, заполни формуляры и выясни, свободны ли завтра лазеры. А потом размести его по-человечески.

Дальше профессор Масловский с Настей еще поговорили минут пятнадцать, но уже на совсем тарабарском научно-медицинском языке, и из этого разговора Александр Ильич ничего не понял.

Из палаты, как только ушла Настя, Ниточкин тут же по мобильному телефону позвонил своему директору Юрию Александровичу.

— Юрка, ты еще не уехал?

— Нет. А что?

— Я с тобой поеду.

— А что — тебя уже отремонтировали?

— Нет, но мне надо с тобой посоветоваться.

— Хорошо, я за тобой заеду через час, позвоню из вестибюля.

Директор приехал даже быстрее, чем обещал. Александр Ильич ждал его уже в приемном покое с пакетом в руках.

— Что у тебя случилось? — спросил директор у Ниточкина.

— Давай поедем скорее, я по пути тебе все расскажу. А то я боюсь, что захомутают меня сейчас и все испортят, а для тебя ох как важно теперь иметь меня в таком виде, как я есть. Поехали!

— Нет, ты мне сначала все скажи. Что же я, как дурак, договариваюсь с министром, чтобы моего ответственного работника посмотрели лучшие специалисты, он главных профессоров срывает с графика, чтобы тебя исследовать, а ты тикаешь! Разве так можно? Как я буду в глаза смотреть людям? А в следующий раз как я буду обращаться? Давай рассказывай все по порядку.

— Пойдем, я тебе в машине все расскажу. В общем, так: я — потомок Пушкина. А по какой линии — не знаю. Это ты должен выяснить и защитить на мне диссертацию. Нашел молодой профессор, который сейчас за профессора Глазкова пока, у меня в глазу какой-то африканский след, и стал он у меня выпытывать, не были ли у меня бабушка или дедушка африканцами, но я смолчал.

— А чего смолчал-то? Сказал бы, что вот были у меня бабушка с дедушкой разведчиками в Конго.

— Ты все смеешься, а я тебе скажу так: наши старухи экскурсоводши стесняются говорить правду, а тут недавно экскурсия из Москвы была, и вел ее молоденький такой паренек, ученый тоже. Так он рассказывал, что кучер Пушкина Михей Сивохин чуть ли не каждый день девок Пушкину приводил. А это значит, что я прямой потерянный потомок нашего великого Александра Сергеевича. Этот факт нам надо с тобой зафиксировать.

— А зачем нам с тобой это фиксировать? Ты что, хочешь претендовать на усадьбу, что ли?

— Да нет! Вот ты чудо-юдо! Ты понимаешь, как к нашему музею будут относиться экскурсанты, когда будет известно, что работает в нем прямой наследник Пушкина? Вот когда правнук Пушкина к нам в Болдино приезжал, сколько разговоров было. Ты меня с ним должен познакомить.

— Умер уже Григорий Григорьевич Пушкин.

— Ну так я теперь есть — живой-здоровый — и каждый день в Болдино.

— Прямой наследник Пушкина в своей фамильной усадьбе сторожем или сантехником работает! А кем же ты теперь будешь себя обзывать: мордвином или эфиопом?

— Ну, работать я буду, как раньше, сторожем, а проведешь по документам ты меня как заместителя директора, для солидности. А мордвин наследником Пушкина спокойненько может быть.

— С должностью твоей — не проблема, мы ее решим, а вот доказать твоё прямое родство с Александром Сергеевичем ещё предстоит. Может, ты потомок Льва Сергеевича, он тоже у нас в Большом Болдине похозяйничал. Это надо заявку в областной архив делать и всерьёз тебе заняться своей родословной. Там, в архиве, сотрудники умные и все-все про тебя раскопают.

— Так зачем это мне-то надо? Это ты должен все выяснить и диссертацию защитить на мне. А я — лишь наглядный экспонат. А если я сейчас останусь тут, в больнице, они мне завтра и хрусталик поменяют, и силикона в глазное яблоко зальют, как девкам в титки. Только им для твердости, а мне для прозрачности. И сеточку какую-то лазером приваривать будут. А я не уверен, что они вообще умеют варить, вот Ванька с базы, тот сварщик от Бога, а тут в глазу, да еще в моем, — не знаю, что они там сварят. Вот я слышал от наших ученых экскурсоводш, что в архиве есть полная запись рассказов Ивана Киреева, который с Михеем Сивохиным был знаком, и хорошо бы, если бы ты ее послушал.

— А зачем мне ее слушать?

— Так там все девицы, с которыми Пушкин был, перечислены!

— Во-первых, все воспоминания Кузина о Михее Сивохине у меня есть, а во-вторых, Пушкин сам составил список всех своих приключений на любовном фронте, и называется все это «Донжуанский список Пушкина». Его опубликовали еще до революции. А в тридцатые годы о нем написал Петр Губер целую монографию. Исследовали его до нас с тобой сотни людей, и все симпатии нашего гения известны — там сплошь княгини да графини. Тем не менее надо в архив заказать, чтобы составили твою родословную — может, оттуда чего-нибудь выплывет.

— Чего-то я не верю в графинь да в княгинь-то — на фиг им нужен такой урод! Мне кажется, что в таком списке у Пушкина должны быть большей частью девки крепостные. Ну, так я думаю.

— Я тоже так думаю, тем более что в Большом Болдине и в пушкинские времена крепостными крестьянками одни мордочки были, а это же особый смак. А теперь давай вернемся к профессору Глазкову.

— Это зачем же? Мы же решили.

— Ну вот, мы решили, а значит — пусть профессор Глазков зафиксирует существование в тебе африканского следа. Чтобы потом нам спокойно работать.

— Ну, пошли!

Профессор Глазков уже подъехал. Был он похож на настоящего профессора: в голубенькой спецовочке, в голубенькой шапочке, в очках и с бородкой. Ниточкина и директора музея-заповедника он просто разочаровал:

— Мой ученик профессор Масловский — хороший специалист и прекрасный хирург. Завтра он будет делать вам операцию. Но он еще и большой фантазер: так он с молоденькими сестричками заигрывает, на ходу делает открытия, глядя в глазное яблоко. А линия радужки у нас у всех одинаковая: и у русских, и у африканцев.

Операцию Александру Ильичу сделали удачно, и видит он теперь значительно лучше.

КАК И ВСЕ!

Женьку Кошкина я встретил после нескольких лет взаимного забвения на Откосе — нашем городском месте прогулок и ни к чему не обязывающих знакомств. Так часто бывает, я имею в виду — встречи на Откосе. Он был одет по последней моде той эпохи: длинное черное кашемировое пальто, чуть не в пол, узконосые лакированные туфли и круглые затемненные зелененькие очки в позолоченной оправе

(видно, что дорогие!). И еще — бросалась в глаза, из-под темного с брусничным отливом кашне, вылезавшая небрежно наружу, красная, в белый горох, бабочка.

Женька, как всегда, был беззаботен, улыбочив и открыт. Мы обнялись по старой комсомольской привычке, и я, не дав ему опомниться, сразу спросил:

— Ну, где ты? Ничего я про тебя не слышу уже несколько лет!

— Я? Да я как все, — чуть замешкавшись отрапортовал Женька. — Не поверишь — барменом в клубе «Юность», во втором микрорайоне. То ли барменом, то ли администратором, видишь — какая у меня униформа? Надоела мне вся эта общественная, государственная и партийная работа, ответственность надоела, вранье надоело. Заходи как-нибудь в гости, поболтаем, отдохнешь, я угощаю. Весь мой город у меня в баре теперь отдыхает.

— Бар «Юность» — это где?

— Да в микрорайоне, прямо напротив остановки.

— Ну, ладно — зайду, если приглашаешь. Как-нибудь в праздник.

— Ты что? — как-то застыл и изумленно посмотрел на меня Женька. — Какой праздник? У меня же каждый день праздник!

Я потом несколько лет вспоминал эту Женькину реплику, произнесенную то ли с восторгом, то ли с болью, то ли с обреченностью. Вы можете себе это представить — праздник каждый день! Это — не праздник, который всегда с тобой, но вообще-то не твой праздник! Это — чужой праздник, но каждый день, и всю жизнь, и всю жизнь вокруг тебя!

Интересное дело: уже много лет, пока я знаю Женьку, он существует для меня фигурой как бы «на виду» и в то же время мелкой фигурой, вроде прыщика на самом видном месте, например — на носу. Впрочем, так же, как и я сам. Но со мной дело понятное: где бы я и когда бы не фиксировал себя на более или менее продолжительное время, я становился редактором стенной газеты либо многотиражки. А так как и Ильичев, и Зимянин, и Афанасьев, это главные редакторы газеты «Правда», сразу после назначения становились секретарями ЦК, то и я, как главный редактор, и в школе, и в институте, и на заводе автоматически вписывался в обойму руководства и становился или заместителем секретаря, или членом партбюро.

Вообще я очень серьезно относился к этому своему стенгазетному редакторству, оно давало мне громадные преференции: в школе я игнорировал большинство диктантов и контрольных, в институте на переэкзаменовках профессора меня забывали спрашивать о чем-нибудь серьезном, а на заводе я болтался по цехам в поисках материала и кокетничал с работницами.

Ну, и начальство замечало мое серьезное отношение к этому значительному делу, хотя многие его значительным не считали. Для примера — во всех школах стенгазеты были: «Крокодил», «Еж» или «Колбочка», у нас газета называлась «Неделя», и в ней всегда была передовица, написанная директором или одним из завучей, был обзор событий в нашей школе, в соседней школе, но была и литературная страничка со стихами типа:

Идет Бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
Урок уж начинается,
А я еще иду.

Бычок — это Сашка Бычков, наш школьный хулиган.

А знаете, как называлась моя многотиражка на подшипниковом заводе — «Шарик». Ну, здесь я ничего не мог поделать — традиция существовала задолго до меня.

И с Женькой Кошкиным я познакомился, когда уже работал на заводе. Он был тогда совсем молоденьким инструктором райкома комсомола, задорным, только что пришедшим из армии, со звонким голосом, с вихрастым чубом, налезавшим на глаза, и курировал он нашу заводскую комсомольскую организацию. Наш секретарь заводского комитета комсомола Виктор считал себя птицей высокого полета, метил на работу в какое-то московское министерство, где у него служил дядя, и прямо мне сказал: «Плюнь на Женьку, выше инструктора райкома он не поднимется».

И вот тут наш Виктор немножечко, но ошибся. Любил Виктор на директорской черной «Волге» из нашей провинции в Москву к дяде с шиком сгонять. Напечатали мы у себя в многотиражке про это дело фельетон, и на очередном отчетно-перевыборном партийном собрании освобожденный секретарь комсомольской организации в полторы тысячи человек при тайном голосовании не прошел в состав партийного бюро завода. Прокатили! Коммунисты завода проголосовали «против!» Скандал!

В райкоме партии узнали об этом казусе уже через пятнадцать минут, и по настоянию руководства района продолжение собрания сначала было предложено перенести на следующий день для обсуждения обстоятельств произошедшего недоразумения. Однако сразу же последовал второй звонок из райкома: «Ждите!» И пока наши партийные мужики ходили по коридору и прокуривали объявленный перерыв, из райкома приехал на разборки Женька Кошкин. Разборок не было.

— Нам шум не нужен и скандал тоже, — заявил Женька руководству завода, запершись с ними в комнате для совещаний. — Тоже мне провинился, на служебной машине в Москву съездил. Был бы большой грех — голову бы сняли! А так — проголосовали «против» — значит, будет, как решили все: выбирайте партбюро без Виктора. Потом кооптируете его в состав партбюро без голосования, как освобожденного секретаря комсомола, и все останется по-прежнему.

После перерыва Женька Кошкин выступил перед собравшимися коммунистами:

— Вы, наверное, тут думаете, что я из райкома партии приехал защищать Виктора? Нет — я как все! Решил коллектив, что виноват, значит — виноват!

В тот день Женька Кошкин стал инструктором райкома партии.

В те семидесятые—восьмидесятые годы традиционно работники райкома ли партии, обкома ли комсомола в течение своей службы на освобожденных должностях подбирали для себя спокойную и хлебную работу: кто замахивался на управление строительным трестом, а кто на фабрику лыжных мазей. Один Женька Кошкин верил в светлое будущее и решил идти по партийной линии до конца.

Встречались мы с Кошкиным нечасто: ну, раз в год, и всегда эти встречи что-то решали в моей судьбе. Будучи уже председателем райисполкома, вызывает меня к себе Евгений Иванович, а его теперь так надо было именовать, и говорит:

— Я, как и все, решил.

— В смысле? — спрашиваю я.

— Велели мне предложить тебе поработать в нашей городской вечерке, главным редактором, естественно. Вот я и решил! В общем, от этого не отказываются.

Потом я Кошкина долго не встречал, слышал, что он недолго в Городской думе позаседал — это уже в новое время. Но это действительно недолго: в Городской думе сидят одни миллионеры, а Женька гол как сокол. Не участвовал Женька ни в кооперативах ни в каких, ни в приватизациях никаких не участвовал. Может, кое-кто решит, что дурак он! Может быть. Только я еще знаю, что Женька Кошкин верил в светлое будущее и о людях в первую очередь всегда думал. А что касается Городской думы: так и в думе кто-то работать должен. Вот и решили, что Кошкин им там все наладит. Кошкин все разгреб, и все наладил, и стал не нужен.

Поэтому когда я его встретил на Откосе, послышалась мне, за его комсомольским задорным настроением, некая почти неслышная ирония и горечь, а может быть, даже усталость, такая усталость на излете. А может, мне все это показалось. Уж не настолько близкие люди мы были с ним, чтобы залезать при встрече на улице в душу друг к другу.

А в клуб «Юность» я как-то через месяц после нашей встречи действительно попал, случайно по делам оказался в микрорайоне и зашел. В помещении было холодно, мрачно и накурено. Я зашел даже не из-за Женьки — просто хотелось выпить. В центре зала извивались пять растрепанных и покрашенных девиц и один вдребезги пьяный парень. Что за убойная музыка неслась из установок, я не знаю, но барабаны били по перепонкам так, что я понял, зачем их ставят в центр эстрады; я впервые понял, что эти ударные установки и создали важнейшую субкультуру двадцатого века.

Женька стоял за барной стойкой в белоснежной накрахмаленной рубашке и в малиновой жилетке с малиновой бабочкой, он с очень важным видом объяснял что-то полупьяной девице, у которой помада уже размазалась по щеке. Увидев меня, Кошкин очень важно и вежливо перед ней извинился и обратился уже ко мне:

— Что желаете, сэ-э-эр? — протянул он гнусавым голосом, противно улыбаясь.

Но моментально и голос его изменился, и улыбка стала естественной. Что-то было молодое и задорное в этом почти пятидесятилетнем мужике.

Я отказался от коктейля «Юность», подозревая, что в него забухивают самый противный и дешевый коньяк, а может, даже и самогонку. Я выпил две стопки виски и ушел. Разговаривать в атмосфере шума и грохота было невозможно, да, как мне показалось, Кошкину и не больно-то этого хотелось. Как-то засмушался он. Но этот страшный праздник, который вращается вокруг Кошкина каждый день и уже который год, я слегка ощутил. И тревожно даже как-то стало за него.

Не стал бы я вспоминать все эти мои встречи на жизненном пути с Женей Кошкиным, если бы не случай. Умер у меня дальний родственник. Сейчас близких родственников так мало становится, что мы начинаем уже и за дальних ответ держать. Вот раньше слышал часто я разговоры типа: у моей бабушки было пять сестер и шестеро братьев, а теперь такого не услышишь. У меня много знакомых, а только у одной женщины из Арзамаса есть пятеро детишек и у друга-писателя, кстати, тоже Женьки, четверо ребятшек. А так все семьи моих друзей мелковатые.

Так вот — пришлось мне ехать на кладбище, решать вопрос с могилой. Родственник у меня — не почетный гражданин города, хотя хоронить его должны были на центральном городском кладбище в родственную ограду. Справка у меня на руках, звонок из администрации был, но надо самому и заказ сделать, и за исполнением проследить: где могила, когда будет готова.

Весна вокруг. Ну, такая уже зрелая весна: листочки зелененькие пробились, птицы вовсю поют. Иду я по главной аллее прямо к часовенке, которая на кладбище стоит, а навстречу мне Женя Кошкин идет: в сапогах, глиной измазанных, в синей курточке-спецовке с надписью «КРУ» (я сообразил, что это «комбинат ритуальных услуг»), с лопатой через плечо. Увидел он меня, узнал, заулыбался:

— Привет, — говорит, — старик. Ты к нам какими судьбами? Случилась беда какая? Пойдем ко мне в кабинет.

— Евгений Иванович, — говорю я ему, — а ты что же — здесь ямы, что ли, копаешь?

— Нет, — отвечает он, — ямы, могилы в смысле, копать я уже старый. А вот присмотреть за людьми стоит. Вот и поручили мне. А я согласился — надоел мне этот грохот барабанный, в кафе который. Не для меня этот праздник вечный. Или старый я уже стал?

Кабинет у Кошкина в административном корпусе кладбища был, конечно, поменьше, чем райисполкомовский, но чем-то похожий на тот, прежний. Правда, кресло было офисное, вращающееся, современное, и на столе ноутбук с надкусанным яблоком на крышке открытой. А вот стол был дубовый и столетний, и диван был тоже из бывших: большой, кожей обтянутый, с валиками, как в райисполкоме. Но главное, на стене висел настоящий, писанный маслом портрет Ленина, и это не выглядело как-то надуманно — естественно это выглядело.

Кошкин очень быстро скинул с себя куртку, сапоги, переоделся и уже через минуту стоял передо мной в цивильном костюме и при галстуке.

— Так, рассказывай, что за беда у тебя? Чай, кофе будешь?

— Нет, Жень, жарковато что-то для чая.

— А минералочки?

— Минералки давай.

Кошкин открыл холодильник, достал оттуда две бутылки боржоми и, открыв их, протянул мне одну:

— Пей из горлышка, так и гигиеничнее, и вкуснее. Хотя у меня тут порядок и все стерильно.

Я показал Кошкину свидетельство о смерти, объяснил задачу, но оказалось, что он и родственника этого моего дальнего откуда-то знает, и о смерти его Кошкину известно, и могилка будет к завтрашнему дню готова — только приезжайте!

— Евгений Иванович, — я все еще не мог выбрать тон для нашей будущей беседы, то ли на «вы», то ли на «ты», — ты мне все же объясни эту метаморфозу: как ты здесь?

Смотрел он на меня, седой, бронзовый от загара, морщинистый, шестидесятилетний крепкий мужик, и искорки поблескивали в его насмешливых глазах.

— Да и нечего тут объяснять: как и все, как и ты, так и я, мы все здесь окажемся. И вот что я скажу тебе: хожу я по этим аллеям, по этому лесу рукотворному, вижу то, что осталось и от моих учителей, и от моих товарищей, они все тут лежат. Вон видишь, за елкой, из красного мрамора, чуть качнулась стела с барельефом — он мне когда-то выговор по партийной линии с занесением в учетную карточку закатал, а я ему вчера на цемент в цветочнице угловые кирпичики положил. Ну, не сам, конечно — у меня здесь бригада отменная, все умеют. Деньги приличные они тут зашибают, но и я требую с них. Уход и пригляд за всем нужен. И мои начальники обкомовские тут, и губернаторы, и купцы первой гильдии, и писатели, и артисты народные. Весь мой город теперь у меня тут под рукой. Да что тебе объяснять, чай, ты — не дурак! Только смешной вся жизнь моя мне теперь кажется ...

Я УМЕЛ ЛЕТАТЬ

Когда я был маленьким, я умел летать. Как это у меня получалось, я не знаю; я даже не помню, как это случилось со мной в первый раз. А ведь если б вспомнить да с умом проанализировать это дело, то можно было бы и что-нибудь полезное извлечь из того моего детского занятия. И надо же — спросить про это мое занятие тоже не у кого. Другьям я о нем не говорил: могли или засмеять, или перестать дружить. Знала, точнее, догадывалась про мои полеты только моя бабушка, но она уже давно на том свете. И еще — взлетал я, как правило, с чердака соседнего дома, а того дома тоже уже нет.

Почему с соседнего? Не знаю. Наш и тот дом — одинаковые были: бревенчатые, двухэтажные, четырехквартирные.

По-моему, все мальчишки любят лазать по чердакам: всегда там найдется что-нибудь интересенькое. Старые самовары, керосиновые лампы, венские стулья, сложенные лыжи, ржавые коньки, гвозди, подшивники, метлы, веники для бани, пачки старых газет и журналов — этого барахла всегда там хватало. Но случались и неожиданные находки. Я знал одного пацана, который саблю на чердаке нашел, а в соседнем дворе ребята нашли коробку с деньгами, со старинными.

Если на чердаке сушат белье, то чердак, как правило, запирается, и тогда попасть на него можно через чердачное слуховое окно. И тогда такой чердак превращался у мальчишек в штаб или в наблюдательный пункт. Я же превратил чердак соседнего дома на несколько лет в свой персональный аэродром. Однажды я заметил, как новая жиличка, только что переехавшая в тот дом, закрывая дверь на чердак, где она сушила белье, кладет ключик от замка на притолку. После этого чердак стал моим.

В первую очередь он понравился мне тем, что предыдущие хозяева, семья врача-профессора, оставила часть огромной своей библиотеки на выброс, а новые жильцы оттащили все книги на чердак. В основном это были старинные французские иллюстрированные журналы, какие-то биологические и географические атласы и медицинские книги на немецком языке с большим количеством цветных и непонятных картинок.

Обычно я пробирался на второй этаж по скрипучей лестнице на цыпочках, мимо входной двери, потом несколько маленьких ступенек и — заветная дверь с навесным замочком. Я его аккуратно отпирал ключиком, припрятанным над дверью, и забирался в свой придуманный мир грез. Мир грез — потому что, разглядывая французские журналы с картинками, я странным образом попадал в освоенное только мной совершенно не ведомое никому пространство. Журнальные картинки оживали, текст на французском языке неожиданно становился понятным, и я на несколько часов буквально вращался в парижскую жизнь девятнадцатого века, которая превращалась для меня если не в родную, то в очень знакомую.

Я листал эти журналы, сидя на пустом ящике около чердачного окна, из которого хорошо просматривались наш переулок и наша вымощенная булыжником улица, где играли мои друзья, а я там видел парижские проспекты с бегущими трамваями и старинными неуклюжими автомобилями, красавиц в модных шляпках с перьями и марширующих солдат.

Дожив уже до седых волос и обладая трезвым логическим мышлением, я могу объяснить себе все это возбужденной детской фантазией художественно одаренного ребенка, но ведь я еще и читал французские тексты в этих журналах, и я понимал их. Как? Я ведь потом рассказывал о том, что узнавал из этих журналов своим школьным друзьям. Это что? Уже нынешние мои старческие фантазии?

Я даже могу рассказать, как я летал! Для меня это сейчас не удивительно, и я уже как-то, пусть иррационально, но могу это себе объяснить. Возможно, я попадал в состояние перевозбуждения от рассматриваемых картинок, или это был самогипноз, или специфическое летаргическое состояние, позволяющее проникать в другое измерение. Ведь я же сквозь чердачное окно попадал сначала в журнальную картинку, потом там осваивался и уже только после этого мог по желанию преодолевать пространство и время. Это уже с опытом я научился отправляться в полет без картинки.

Я в том другом мире встречал очень большое число людей, умеющих летать.

Мы не общались друг с другом. Мы делали вид, что не замечаем друг друга. Мы знали, что наш дар надо скрывать от всех и даже не признаваться самому себе в том, что он есть, иначе он пропадет. Мы редко здоровались там и почти не приветствовали друг друга при встречах в полете, а я старался даже незаметнее проскользнуть куда-нибудь подальше от мест таких встреч. Хотя, помнится, однажды и был приглашен на участие в полетах стайей. Сделано это было каким-то опосредованным образом — мы же не разговаривали друг с другом в том состоянии.

В этих полетах наяву есть несколько аспектов, интересующих тех, кому не довелось летать. Из того, что не очень много людей этим вопросом интересуются, но тем не менее интересуются и подробности у меня спрашивают, я делаю вполне разумный вывод, что летали многие, но, помня о неизбежной суровой расплате за трепотню, предпочитают об этом своем прошлом и временном таланте молчать.

Первый, интересующий всех вопрос: с какой скоростью можно перемещаться? Отвечаю: почти моментально — и в пространстве, и во времени. При этом: ни свиста в ушах, ни развевающихся по ветру волос, ни слез из глаз от секущего встречного ветра — ты практически не материален. А почти — потому что ты замечаешь разгон, потом все сливается, и ты уже на месте. И можно уже не торопясь наблюдать, как медведица выгуливает своих медвежат или как девчонки моются в бане.

Второй, не менее важный вопрос: куда можно попасть, обладая талантом полета? Отвечаю: только в те места, о которых имеешь хотя бы минимальное, ну мизерное представление. На планету Юпитер не попадешь, потому что ты не знаешь ни одной детали, из того, что там может тебя окружать. А вот в девятнадцатый век или в мир динозавров — можно! Сначала ты узнаешь предметы или существа, встречавшиеся тебе раньше на картинках или в книгах, а потом уже начинают сами собой заполняться все неизвестные тебе лакуны. И мир становится полноценным и правдоподобным. Но ты никогда не бываешь настоящим участником действия, а только подглядывающим свидетелем. И если в кино режиссер ставит тебя в определенную точку и выбирает для тебя экспозицию и цензурирует происходящее, то в моих полетах я оказывался часто свидетелем различных, подчас и непристойных сцен, о которых раньше никогда не задумывался.

Важным условием четкого восприятия нового мира, в который я попадал благодаря своим полетам, было вот это предварительное знание или представление о мероприятии, месте, предмете, личности. Так, залетев в Большой театр и застав там спектакль «Лебединое озеро», я смог очень детально разглядеть и артистов, и декорации, и зал, и коридоры, и гримерки, и буфет. И это произошло лишь потому, что я бывал уже в нашем городском оперном театре и смотрел там как раз «Лебединое озеро». А вот впервые попав на спектакль парижского кабаре «Мулен Руж», я не очень четко разглядел некоторые детали, и мне пришлось через пару дней летать туда еще раз. Во второй свой полет я уже был немного подготовлен, в смысле — осведомлен, и тогда все выглядело по-настоящему четко, ярко и красиво.

Третий вопрос: можно ли делиться увиденным с близкими, друзьями, обсуждать с ними детали увиденного? Увы — нет, это сразу приводит к утрате дара! И это очень обидно, потому что чего стоит богатство, о котором никто ничего не знает и которым не с кем поделиться?

Ну и последнее: эта фантастическая способность к полетам катастрофически быстро утрачивается, если попытаться использовать ее в меркантильных целях. Помнится, мне захотелось выяснить — когда умрет парализованный дядя Коля Покровский из соседнего дома. Зачем мне это понадобилось — ума не приложу. Узнать я этого не смог, конечно, но, как только это желание у меня сформулировалось в голове, так я тут же почувствовал, как наливается тяжестью мое тело, уже готовое к полету, и я понял, что сегодняшний сеанс придется отменить.

Этот дар позволяет получать какую-то дополнительную информацию, недоступную простому смертному, но использовать ее в практической жизни как бы не рекомендуется. И это тоже условно — потому что как же не использовать в сложных жизненных ситуациях свои возможности? Просто, видимо, в зависимости от того, как интенсивно используется эта способность, она же и утрачивается.

К печальным аспектам такого новоприобретенного своего свойства я могу отнести потерю детства, потому что детство почти у всех сопровождается мечтой о том, что на

свете есть место, где процветает справедливость. Так вот: благодаря своему неожиданному дару я очень быстро понял, что на земле справедливости нет.

Ну и если кого интересует: можно ли просто получать радость от полета, как летчик или птица? Да, и это самое прекрасное, что было у меня в жизни и что очень быстро закончилось, и это никогда не повторится.

Мы ведь никогда не задумываемся, как мы ходим, или как мы дышим, или как мы пьем воду. Просто ходим, дышим, пьем! А ведь это было когда-то в первый раз, и это было не просто. Так вот, первый полет, точнее, первые полеты я запомнил, потому что потом, конечно, летал уже не задумываясь, и все получалось. А в первый раз — я помню, как сначала пропадал вес во всем теле — постепенно появлялась легкость, а потом и невесомость, и ты превращался в пушинку или порхающую на месте бабочку. И первые передвижения в пространстве были такими же неуклюжими, как и первые шаги ребенка.

Это потом я научился хватать в руки выпрыгнувшую из воды за добычей шуку, или на лету пальцами отбирать у ласточек комариков из клюва, или заглядывать в иллюминаторы самолетов на высоте десять тысяч метров. Только учтите: меня в полете материализованного никто никогда и нигде не видел, я не пугал пассажиров самолета, и ласточка не понимала: куда делся комарик?

Очень радовали меня эксперименты с полетами на сверхзвуковой скорости. Все мы не раз слышали резкий хлопок, похожий на далекий взрыв, когда в ясной голубизне неба сверхзвуковой истребитель тащит за собой пушистую борозду: это он с таким схлопыванием проходит звуковой барьер. У меня такое тоже получалось. Я мог свистнуть в четыре пальца, переместиться моментально на какое-то расстояние и дожидаться и услышать, как мой свист ко мне прилетит. В том возрасте я умел очень хорошо и громко свистеть.

Я уже заикался о полетах в стае таких же, как я, летунов, — я не участвовал в них. И не потому, что я боялся чего-то или стеснялся. Просто у меня были определенные вопросы, которыми я не хотел ни с кем делиться, а для себя я их еще не разрешил. Одной из таких загадок природы, на которую я не знал ответа и которая меня волновала с детства, была удивительная способность птиц летать стаями.

Что заставляет стаю лететь тем или иным маршрутом? Есть ли в таких стаях вожаки и сколько их? Что заставляет стаю в воздухе разделяться на две или три полноценных, но разлетающихся в разные стороны? Могут ли в одной стае лететь, пусть и непродолжительное время, птицы разных видов? Да вообще много было у меня вопросов, на которые можно было ответить, только оказавшись внутри этой птичьей стаи. И конечно, хотелось побывать и полетать в стаях и грачей, и скворцов, и журавлей, и ласточек-береговушек. Несмотря на все их различие, их объединяло то, что они — птицы и они летают.

Я поучаствовал в полетах десятков, если не сотни стай разных видов птиц. Я с ними летал на кормежку и строил гнезда, радовался солнцу и скрывался от грозы, защищал гнездовья и нападал на врагов. Только летая в стаях, я понял, что птицы обладают и в совершенстве владеют совсем другими органами чувств. Нет, они и теми пятью нашими, которые мы называем основными, пользуются в полной мере, но они для них не основные. Для полетов нужны другие органы, обрабатывающие иную информацию, а те, к которым мы привыкли, должны обладать иной чувствительностью, чтобы решать специфические птичьи задачи.

Ведь я и в Антарктиде со стаями пингвинов по льдинам попрыгал. Пусть они не летают, но они же птицы и стая. Я, наверное, уже тогда понимал, что когда-нибудь я потеряю это свое неожиданное необычное качество и превращусь в «пингвина».

Мои возможности для исследований были просто фантастическими — но в силу своей молодости я еще не умел ставить правильно перед собой научные задачи и так

же не обладал методиками их решения. Но и того, что я успел выяснить и понять, хватило бы на всю жизнь для полноценных научных исследований.

Мне удалось выяснить, что птицы издалека определяют или как бы видят восходящие тепловые потоки воздуха, а эти потоки помогают им в полете. Но видят они эти потоки не как мы, зрением, а каким-то другим чувством. В точности так же они используют какие-то свои специфические возможности для того, чтобы узнавать, как и на какой высоте меняется давление воздуха и его температура. Я был в те годы еще маленьким, в смысле возраста, но теперь-то я понимаю, что птицы в своих полетах используют сведения и о гравитационных завихрениях, и об искривлении электромагнитных полей, и об энергетических возмущениях, происходящих при возникновении новых озоновых дыр. Видимо, все эти данные, собранные вместе одной стаей, дают феноменальные возможности предугадывать перемены в погоде в различных точках своего обитания.

Для того стая и разделяется в полете, чтобы собрать информацию об изменениях температуры, давления и влажности, а потом, собравшись, поделиться этой информацией. Но поделиться не как мы — словами, а просто смешавшись вновь в единое целое, птицы создадут новое средневзвешенное представление членов стаи об изменениях погоды и будут вести себя соответственно. Таким образом, стая птиц представляет собой единый живой организм, подчиненный выполнению определенных целей. Перелетая с болота на болото, утки или гуси тянутся тройками или пятками, а для сезонного перелета в южные края они собираются в табуны до тысячи голов.

* * *

И вот сейчас я вспомнил, когда впервые утратил способность к полетам, когда впервые испугался. К тому времени я уже три года летал. Я помню, как в восьмом классе попросил своего отца, преподавателя университета, отвести меня в кружок бионики при какой-то специальной кафедре. Это был в чистом виде факультатив, но я этого еще не понимал. Мне захотелось заниматься использованием возможностей животных, птиц, растений в новых технологических разработках. Отец отвел меня на эту кафедру и познакомил даже с какой-то дамой, фамилии и имени которой я уже не вспомню.

В тот день, когда я завершил свою карьеру летуна, вернувшись из университета, я залез на свой любимый чердак и, разглядывая сквозь слуховое окно наш двор, раздумывал, как лучше организовать свой очередной полет. В то же время изнутри меня подтачивал червячок сомнений: нарушил я уже заповедь о запрете использования своего дара для личной жизни своим походом в университет или еще нет?

А может, я понял, что вообще сегодня никуда не полечу: по двору шла Танька из нашего класса, с которой я договорился пойти в кино и совсем про это забыл. И впервые в жизни мне показалось, что Танька куда интереснее, чем полеты.

— Танька, — крикнул я ей с крыши двухэтажного дома сквозь слуховое окно, — подожди меня, я сейчас.

И Танька дождалась меня, и мы пошли в кино.